

Странно писать в Нью-Йорке о петербуржском (наконец-то это слово потеряло свой «крамольный» оттенок!) поэте-современнике, так и не пристгнавшись с ним ни разу за сорок два года моей «потонувшей» жизни, прожитых где-то совсем рядом, исподалеку от него, на берегах Невы...

Принято считать, что каждый поэт непременно должен (а иначе — какой же он поэт?!) воспевать свою или, на худой конец, чужую Великую Любовь — самое светлос, чистое, высокое и радостное чувство в мире, без которого сама Поззия (да, вероятно, и сама жизнь!) теряет право на существование. Приходится сразу же огорчить любителей сентиментальных откровений (если таковые еще сохранились): любовная тема в книге Григория Марка представлена всего лишь двумя небольшими, стоящими в стороне от основных тем сборника стихотворений («Монстру в щель» и «В лесу»), сводясь в первом случае к телефонному разговору поэта с его коварной возлюбленной («Эмсю вьется... голосок влюблённый»), а во втором, к целогудренному шепоту тел, «осторожно танцующих прикосновений». Чуть дальше автор отрекается даже и от этих смутных воспоминаний о минувшем (а может быть, и пригрязнвшемся) счастье: «Все чаще память тела изменяет:/ Стал забывать язык прикосновений...»

Судя по всему, «угасание» любовной темы, характерное не только для первой, а потому демонстративно «программной» книги Григория Марка, но и для всей современной петербуржской поэзии, — еще один серьезный симптом нарастающей идеализации самого могучего из человеческих чувств. Грубая, сугубо материальская сторона плотской любви все дальше отодвигает в область предания, как устаревший «идеалистический» инвентарь, «родство душ», самопожертвование и любые благородные попытки. Именно такой и остается «любовь» в сугубо «биологическом» (уже не в «филоновском»), а в чисто «животном» или даже «растительном» смысле) стихотворении Григория Марка «Зачатие жизни». Очень грустнос сти-

Григорий Марк. Гравёр. Нью-Йорк, Effect Publishing, 1991. 142 стр.

затворенное много любившего и много страдавшего человека!

Большой жизненный опыт в сочетании с природным скептицизмом потомственного интеллигента не позволяют. Однако, автору и здесь скатиться в болото угрюмого морализма, погрузиться с головой в собственные, как можно понять, не очень радостные душевные переживания. Даже лишившись Счастья и Любви, он остается самим собой: мудрым, самодостаточным художником, сознательно отталкивающимся от «стадных» чувств толпы. Так остро прочувствованных им и так сочно отпечатавшихся на бумаге в его стихотворении «В ресторане»: «Слепая, лекивая сила/ Самцов поднимает со стульев,/ И воздух становится вязким,/ Наматывается на бедра/ И путается под ногами». Думается, немного найдется современных поэтов, так смело, смко и биологически точно передающих ощущения вольного или невольного участника групповых сексуальных «игр» — непременного атрибута любой примитивной (от первобытной до «постиндустриальной») человеческой цивилизации. Характерно, что другие стихотворения, посвященные этой «весчной» и в дни нашей юности инфернально-запретной теме, решены совершенно в ином — ироничном и даже остро сатирическом «ключе». В одном из них («На сцене солидная дама...») дебелая певица, в экстазе упоения своим искусством, рвется, как птица на волю, из туго обтягивающих ее одежд (...вздернула бедрами искриво, под платьем трусы поправляет), срывая этим неизвестно волуждающим движением — а не своим искусством — аплодисменты развеселившейся публики...

Гораздо страшнее другое человеческое чувство, тесно связанное с тем, которое мы называем любовью, точнее, с «несчастной» или «неразделенной» любовью, и все-таки выходящее далеко за ее пределы, — чувство одиночества. Нашему поколению усиленно внушали противостоятельность этого чувства для любого нормального советского человека, плоти от плоти тесно (о, как тесно!) окружающего его «здорового», «оптимистичного», честримленного в светлое будущее» коллектива. Временные исудачи в не такой

уж. по сути дела, важной для советских людей «личной жизни» (измена любимой, предательство друзей, крушениe личных жизненных планов и т.п.) воспринимались только как досадные, скропрокодившие явления, не снижающие общий «жизнестверждающий» настрой человека. Одиночество так же, как и неразрывно связанные с ним грозные «фурии» человеческого духа — госка, отчаяние, разочарование в жизни, пессимизм — «перечислялись» на счет литературы «эксплуататорского общества» и, в первую очередь, русских литераторов-эмигрантов, умирающих на чужбине от ностальгии. Думается, что если собрать все стихотворения Григория Марка, пока еще счастливого обитателя своего родного Петербурга, посвященные теме одиночества («Распятие», «Голый король», «Среди вещей и голосов», «У входа в воронку, друг друга толкая...» и др.) — их хватит с лихвой, чтобы составить целый раздел в тематическом сборнике русских эмигрантских поэтов — людей, за резким исключением, достаточно бедных, частую бессемейных и уж никак не избалованных судьбой.

Чтобы понять Григория Марка, нужно попытаться самому «влезть в его кожу», а это совсем нетрудно для нас, недавних советских диссидентов и отказников, сплона ощущавших на себе чугунный пресс брежневско-андроповского безвременя и даже успевших вдохнуть тлетьорный воздух запоздалых горбачевских «свобод», «Стеною. Скрою. Сплошною. Одиночество» — трудно найти более лаконичную и исчерпывающую характеристику душевного состояния тысяч и тысяч выброшенных из жизни людей, «изгоев» советского общества, презрительно называемых в КГБ «внутренней эмиграцией», которые, ощутив свою полную несовместимость с мертвящей советской действительностью, перенесли променять прилично-безнадежную апатию «коммунального» быта на рабскую, чаще всего несбыточную для нашего поколения мечту найти свое место под солнцем на необъятных просторах Большой Земли, где все сущее не поздно, и где все еще можно начать заново.

Достаточно прочитать стихотворение Григория Марка

Утро в коммунальной квартире — с дисталами, так хорошо знакомыми нашему поколению ленинградцам («И застанные гегемоны — соседи по жизни и кухне, бредут, словно эки, споткхой, следы за собой оставляя. Мне долго следы эти сиделись...»), чтобы у самого обделенного жизнью эмигранта надолго исчезло желание поглядеть на «обновленную» Советскую Россию.

Можно, конечно, много спорить о ностальгии: есть ли она на самом деле, или ее придумали коварные чекисты с Лубянки, однако «ностальгическое одиночество, «ностальгическая тоска» — это скорее тоска по близким людям, оставшимся там, в нашей прошлой, «плотонущей» жизни, чем меланхолические вздохи о «кудрявых березках» и о покосившихся хатах издавна искалившим «свою интелигенцию» озлобленных русских «клейзан». Начитавшись романа Хемингуэя и Ремарка, мы порой называем себя «потерянным поколением», и это, действительно, так, однако стихи Григория Маркакаталкивают на другое, более точное и более общее определение нашего странного, с колыбели искалеченного микросошума: мы — поколение «рассеянний», поколение «индивидуальной diáспоры», поколение одиночек.

В отличие от нас — эмигрантов, давно уже «перешедших Рубикон», Григорий Марк — «обугленный стебель» с «обрубленными» корнями, как он сам называет себя. Явно застыв на вынужденных жизненных дорогах и никак не может с него сорваться. Этая разбросанность особенно остро ощущается в тех стихотворениях, которые он посвящает «исторенному», искусственно никческими советскими хозяевами городу на Неве («Мой город, холодный, израдный...», «Городское лето» и др.). Подобно другим петербуржским поэтам «второй литературы действительности» (Елене Пудовкиной, Юрию Колкеру, Владимиру Жанану), он любит и испытывает опустившуюся, безвремяно одрихлившую бытую столицу имперской России, которой величественная архитектура прошлого давно уже не может скрыть мещанского убожества ее нынешних обитателей. Поэт, как всякий тонкий ценитель и знаток прекрасного, давно и прочно сросся с Петербургом, попал под его могучее обаяние. Об этом свидетельствует, например его искусственно-экзарельное стихотворение «Плынувшее ба-

рокко»: «Принарядились
шанькой,/Все кружева распра-
шили./В эслено-белых платьи-
цах/Плынут сквозь облака...». Однако это волшебство длит-
ся недолго, и даже прослав-
ленный Екатерининский парк
в Царском Селе, чьи «про-
сторные и прилизанные ал-
леи» нежизненно приводят пут-
ника в дикую, «пуре-бытиюю»
чащу, не вызывает у поэта ни

тени юношеского умиления. Петербург Григория Марка в «уловом» стихотворении этого цикла «Над Невою туман красноватый...» — страшный, кровавый, апокалиптический город, где даже «красно-солнышко» наклоняется на Адмиралтейскую и́глу «сах пыльюнший флаг босвой». Ленинград безвозвратно покончил с «Петром», превратив его из

форпоста русской цивилизации в грязные задворки большевистской истории, — утверждает поэт: «Все плотно туман набухает/ Теплой кровью, пугающим сном,/ И почти на глазах зарастает/ И Россия в Европу окно...» И нам, недавним петербуржцам при всем органическом испуге перед этой кошмарной идеей трудно найти веские аргументы.

тики. Может быть, это не совсем его стихия. Однако до предела «заполитизированная» атмосфера Горбачевской России способна ввести в сознание даже святого отшельника, самоуглубленного мыслителя, человека «иса от мира сего». Лучшие в этом цикле, на мой взгляд, стихотворения с исторической ретроспективой («Год 1926», «Революционеры», «Последний фанатик»,

«Завоеватели» и др.) посвящены вымирающему, но еще, к сожалению, далеко не вымершему до конца страшному поколению «кидайных» убийц (ис глазами, свидетельными правдой, единственной правдой на свете) и их безумным вождям, теоретикам и практикам строительства «земного рая» в захаровской опустошенной ими стране. Злая и остроумная московская сатира на «бухгалтера революции» Карла Маркса «Сентель» кажется пасторальной идиллией на фоне смуртносного рукопожатия через жеку «имперского кентавра» — Петра Великого и сто плюсного преемника с «бронзовичкой» у Финляндского вокзала (стихотворение «Невская эстрада»).

Особое внимание читателей-эмигрантов безусловно привлечет далеко не самое сильное в этом сборнике, но зато до зубовного скрежета знакомое каждому бывшему ленинградскому (и не только ленинградскому!) «отказнику» стихотворение «Ленинградский Экклезиаст» — поэтическая пощечина ленинградскому ОВИРу и сто жестоким хозяевам («В ленинградский ОВИР, как на круги своя,/ В кабинеты людей, умножающих зло...»). В отличие от некоторых его зарубежных коллег, русских литераторов-эмигрантов, подавленных на вольных хлебах, поэмы фунт лиха, петербургский поэт явно не обольщается пением горбачевских «сандрей». Весь маленький цикл юлободнических стихов Григория Марка на темы «перст-войки» пронизнут настроением, которое выражилось наиболее отчетливо в двух строчках из его «Письма в Бостон»: «Из всех целей полезно столько драны. Что испонято, как мы в ней живем». Трудно что-нибудь добавить к такой беспощадно-исчерпывающей характеристике «новой политической реальности», складывающейся на берегах Невы.

Страстная ненависть ко злу во всех его обличиях и ипостасях помогает поэту разглядеть это зло не только в окружающей нынешнее поколение со-

вистских людей кошмарной, фантасмагорической действительности, пострашнее романа Кфки и кинофильмов Хичкока, но и внутри себя, внутри каждого из нас — простаков и умников, жертв и плачей, чудовищных монстров и забытых рабов, порожденных и искалеченных с колыбели тоталитарной системой издыхающей «империи зла»: «Жил маленький злой кгбеш-

ник/В коробке моей череп-
ной» — откровенно признает-
ся Григорий Марк, оставляя
«за скобками» так хорошо
знакомый мне (и не только
мне!) тяжелый и длительный
процесс изживания этого ду-
ховного паразита (от «жи-
вости» — до «жизли!»), прочно си-
дящего по сей день в умах мил-
лионов советских людей и да-
же «экспортируемого» нами,
вывозимого в эмиграцию, к
немалому удивлению и огор-
чению наших новых сограж-
дан в странах с давними и
устойчивыми демократиче-
скими традициями.

Религия занимает особое
место как в жизни, так и в
творчестве Григория Мар-
ка — простодушного русского
интеллигента конца ХХ столе-
тия, органично чуждого узко-
любому фанатизму и конфесси-
ональной замкнутости. Еврей
по крови (что видно из его сти-
хов), он, отойдя, казалось бы,
далеко от чистой и наивной веры
своих предков, находит
удивительно теплые, полные
законной гордости слова, что-
бы почтительно воспеть их ду-
ховный подвиг в стихотворе-
нии «Дом собрания» (т.е. си-
нагога): «Дам Спасения, слов-
но кораблик,/По житейским
настая волкам./Его нос при-
мо в небо направлен./И почти
затонула корма./Видно так
всегда было и будет./Мы плы-
ем уже тысячи лет./И все
время по искре в сосуды/
Собираем рассеянный свет». Это
благородное уважение к
искренней вере, в какие бы
внешние формы она ни выли-
валась, можно почувствовать
и в сентиментальном стихот-
ворении «Пасхальная ночь» —
о тихой, незатейливой ста-
рушеской молитве Иисусу
Христу («В горсточку сжаты-
ми/Веры крупинами/Мечутся
истово/Пальцы иссохшие»), и
в эстетско-мистических фикса-
циях своих медитационных от-
кровений — «Попытка рожде-
ния» («Я взвешен и найден
был легким...»), и «Последний
мыс», в которых Григорий
Марк отдаст дань (кстати, на
достаточно высоком теософиче-
ском уровне) модному в на-
ши дни, заново открываемому
европейцами дэнсбулизму.

Однако все это скорее экскурсии в чужие притворы Храма, чем собственный символ веры поэта.

Господь Наш Единый, по Марку (прошу извинения у читателей за исковальный жаламбур). — это не грозный Яхве иудеев, не кроткий, любящий весь мир Иисус Христос и даже не опочивший в нирване Будда, а Бог — Строитель, Бог — Творец, Великий Архи-

тектор Вселенской, Бог масонов и Бог художников. Это ему — Мастеру Мастеров, «влюбленному в детали» своего Творения «Вселенскому Граверу» и посвящено центральное стихотворение сборника, давшее ему название. Глубокий пессимизм двух больших и, вероятно, программных, гносеологических стихотворений Григория Марка «Лекции по космогонии» («Вселенная есть воплощение Бога. Быть может, одно из Его воплощений... В ней роль человека... довольно ничтожна») и «Притча о Вселенском Соборе» («Забыта уже цель строительства./ Собор, где мы жизнь свою прожили,/ Растет с удивительной скоростью./ Все больше мертвя внутри») бессовсемо диктуется тяжелой духовной атмосферой, в которой он живет, тихим, отчаянным, а не показным, «пчоринским» разочарованием в людях. Вера в Бога и наилучшая форма исповедания — молитва — служат для Марка калиткой в Лучший Мир, место очищения и слияния открытых Богу душ. Именно потому так прописано в «Материи гласных библейским пафосом стихотворения-псалмы» поэта («Ты былъшъ во миа спиркающими...», «Шансом последним...», «Готикой, спрекованною ярой...», «Я впервые увидел сегодня...») — трансцендентная дорожка, световой луч между отрекающимся от своих богоческих («покорение природы» — из той же оперы!) заблуждений человеком и бесконечно милостивым Богом («Мис больно. Нам больно обоми, Господи...»).

Искусство для Григория Марка — одна из высших форм служения Богу, бескостный полет просветленной талантливой душой и, вместе с тем, тяжелый, изнуряющий, требующий максимальной самоотдачи труд. Не случайно он сам в «Автопортрете со словами в горле», открывавшем сборник, представляется читателям как старый мастеровой, который «со скрежетом тащит сквозь Горло состав из разорванных звуков». Процесс поэтического творчества оказывается подчас невыносимо мучительным, — тем выше и полнее наслаждение, когда поэту удается найти: поймать на лету нужные ему слова, искусно соединив их между собой с помощью ритма. Написав эту строчку, я понял, что вместо «мастерово-го» Марка («Материю гласных, простроченных ритмом./ Из горла — как фокусник — строчку — за — строчкой.../ Цистные ложью друг к другу пришиты./ На нитку живую, но держится прочно...») цитирую его истоль-далекого предтечу, чудака-антинэра из первых страшных лет становления «империи зла», моего любимого поэта Константина Вагинова. Между обоми поэтами, судя по книге «Гравер», подозрительно часто возникает понятие мистическая (реквиемационная?) перекличка двух очень родственных, оченьозвучных друг другу луш.

Обычная фраза об органичном единстве всех видов искусства (поэзии, музыки, живописи, архитектуры), взаимно пополняющих и обогащающих друг друга, находит в поэтических опытах Григория Марка лесенки ярких подтверждений, насыщенных сочной плотью.

слов «Тонкое музыкальное чувство бытия», присущее поэту (так представляет его аннотация на задней обложке книги «Гравер»), проявляется и прямо, что называется «и лоб», в стихотворении «Концерт» («Откроюсьм и кощунством,/Разглашением молитвы,/Над пюпитром вьется скрипка,/Словно птица над огнем...») и косвенно — в прелестной звуковой картине грозы в городе («Как трубы органа, гудят подворотни,/Сквозь ветер листвами крыши взрываются...»), выплескивающейся, в прямом смысле этого слова, в уши ошеломленного читателя. Нерасторжимое сродство Григория Марка — поэта и Григория Марка — живописца читатель легко обнаружит и в его городском пейзаже, и в странном, явно насыщенном гоголевским «черным» рассказом стихотворении «Поседник» — О тщетном единоборстве автора..., с автопортретом. Подлинное мастерство художника проявляется и там, где, на первый взгляд, он идет по проторенному за много лет до его рождения (символистами, акмеистами, обэриутами, Вагиновым и др.) «метафорической» тропе, принося свое новое в истерящиеся, ставшие банальными образы и сравнения, либо по-новому поворачивая, причудливо выворачивая их. В этом отношении очень показательно стихотворение Григория Марка «Расплавленное солнце» с явно банным началом и совершенно неожиданной, фантасмагорической концовкой: «Пошиболотку в солнце/Слепой идет по площади,/И палка истерично/Стучится об асфальт./Разбрьзгивая солнце,/Расплавленное солнце...»). Мне бы хотелось обратить внимание читателей и на другой, не сразу бросающийся в глаза блестящий поэтический эксперимент автора, не слишком оригинальный по содержанию (здесь все от Филонова к раннего Заболоцкого!), но зато очень точный и запечатывающий виртуозной кылжанностью метафор, удивительным соединением музыкальности и живописности, которые под силу только по-настоящему зрелому, большому мастеру («От ветра дрожали внутренности тревожно,/Подъезды в домах раздувались гармошкой,/Пропылыл вдоль по рельсам трамвай, как застежка/На молнии, и расстегнул осторожно/Асфальт на земле»).

Все гениальное просто, — точнее, не просто, а поддастся «расчленению» на отдельные простые элементы (поди попробуй потом сложить их снова в гениальную картину!). Григорию Марку, как и всем большим художникам слова, не чуждо стремление к самоизналиzu, к творческой исповеди, не чужды попытки понять свое творчество самому и подарить читателям волшебный ключик к его тайнам.

Еда ли уместно в газетной рецензии заниматься формальным стиловедческим анализом поэзии Григория Марка, у которого отточенный верлибр (свободный стих) органично уживается с оригинально таифрованными строфами, футуристическая «рваная» строка — с чеканными периодами классического гекзаметра. Достаточно прочитать завершающие сборник «Грамматические трехстишия» поэта («В самом имени — скрытое знание...»), чтобы представить себе масштабы подводной части его творческого «айсберга» (лингвистического и философского).

Открытие нового большого поэта — поистине самый светлый и радостный праздник для литературного критика, серьезное подтверждение общественной значимости его неблагодарной и трудной профессии. Расставаясь с книжной стихией Григория Марка, хочется пожелать ему, чтобы сбылась его собственная молитва:

Ведь с чем я приду к Тебе,
Господи мой?

С лучом творческим и стихов
несуразных?

И все, что не сделал,

на чаше другой...

Но, может быть,

Ты улыбнешься, и сразу

Исклучит все...